УДК 94(47).084.3

В. В. Скурлов, А. И. Рупасов

Дневник арестованного Чрезвычайной комиссией при посещении Датского Красного Креста С. Н. Казнакова во время содержания его под стражей с 20 по 24 мая 1919 г.

Предпринятое в начале мая 1919 г. наступление Северного корпуса под командованием генерал-майора А. П. Родзянко обусловило пристальное внимание советских властей к вероятному развитию событий в Петрограде. 13 мая частям Северного корпуса удалось прорвать под Нарвой фронт 7-й армии РККА и уже через два дня наступающие войска заняли Гдов. 7-я армия вынуждена была 17 мая оставить Ямбург, а 25 мая — Псков. Спустя три дня части Северного корпуса вышли к Гатчине. Петроградские и центральные власти были крайне обеспокоены возможным падением Петрограда. Ситуация в самом городе не воспринималась как успокаивающая. Возможность выступления неких контрреволюционных сил оценивалась как высокая, что диктовало властям необходимость проведения жестких превентивных мероприятий. Поскольку считалось, что сил Петроградской ЧК для их осуществления недостаточно, в середине мая в Петроград были командированы дополнительные бригады чекистов из Москвы. По разным данным, их численность достигала нескольких сотен человек.

Внимание командированных и местных чекистов, естественно, оказалось обращенным на так называемых «бывших». Местом, в которые зимой–весной 1919 г. почти ежедневно стекалось большое число «бывших», являлись

арендуемые Датским Красным Крестом и складами Датского королевского посольства помещения. Именно через Датский Красный Крест и сотрудников Управления складов (располагалось на Невском пр., 8; управляющим был О. Лаурсен) уже не функционировавшего посольства Дании многим петербуржцам удавалось поддерживать не только связь с внешним миром, но и получать продовольственную помощь, осуществлять денежные переводы. Дипломатические отношения между Советской Россией и Данией были разорваны, о чем управляющий складами Лаурсен был уведомлен 1 февраля 1919 г. Он был обязан выслать все печати, штампы и документы в Копенгаген, российским адвокатам запрещалось выступать в качестве представителей Датского королевства. Однако «склады» продолжали функционировать и довольно быстро превратились в своего рода площадки для спекулятивных операций. Эта своеобразная деятельность приобрела настолько широкий размах, что в городе об этом не знал только ленивый. Именно по этой причине один из первых ударов чекистов был нанесен по Датскому Красному Кресту и управлению складами. О том, как была осуществлена эта операция, и повествуется на страницах публикуемого ниже дневника Сергея Николаевича Казнакова (1863–1930).

Сергей Николаевич был личностью примечательной — камергер, действительный статский советник, известный среди петербургских антикваров автор работ по генеалогии, знаток и коллекционер предметов Екатерининской эпохи, член Историко-Родословного общества. Сергей Николаевич окончил Императорский Александровский лицей, после событий 1917 г. поступил на службу в Эрмитаж — был ассистентом историко-художественного отдела (1919–1921). В 1922 г. был вместе с братом Николаем Николаевичем арестован и некоторое время был в заключении в Бутырской тюрьме, а затем выслан из страны. Умер во Франции. Дневник публикуется по перебеленному самим Казнаковым экземпляру дневника, сохранившемуся в фондах Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург).

20 мая 1919 г. Понедельник

Вот, говорят, что нет судьбы, нет преступления, но я, убежденный фаталист, сегодня только еще более сделался таковым. Уже более недели тому назад вновь организованная «внутренняя оборона» Петербурга начала свои действия возобновившимися обысками и арестами. Не далее как третьего дня, в субботу произведен был обыск в квартире антиквара Рудановского[1] в связи с многомиллионной покупкой Комиссариатом Просвещения у одной Датской компании[2], коей он является представителем, массы старинных художественных предметов: бронзы, серебра, фарфора и картин, скупленных им за последнее

[1] Аркадий Константинович Рудановский, бывший офицер-преображенец, некоторое время возглавлявший издательство Главного штаба. В начале 1920-х гг. эмигрировал во Францию.

[2] Имеется в виду датская Русская торговая компания (1915–1922 гг.).

время здесь. При этом были арестованы не только он сам, его жена, компаньон и приходившие на квартиру лица, но и находившиеся там члены экспертной комиссии, официально приглашенной, чтобы дать свое заключение о художественном исключительно значении, но отнюдь не ценности покупаемых собраний. Между ними находились директор Эрмитажа С. Н. Т.[3], А. Н. Бенуа, кн. В. Н. А.[4] и другие. Все они были задержаны, доставлены на Гороховую и после допроса отпущены с извинениями в тот же день или ночью. Сегодня, в Эрмитаже, они рассказывали свои впечатления.

После Эрмитажа я рассчитывал пойти в книжный магазин Мелье[5], но другое дело заставило меня идти на Жуковскую. Зайдя домой и выпив чаю, отправился туда. Под сильным дождем я промок до костей даже в «непромокаемом» пальто, и когда на углу Надеждинской и Невского прыгнул в трамвай № 4, с меня вода стекала ручьем. Но выглянуло солнце, дождь прошел, и на остановке у Садовой я сошел, чтобы идти домой пешком, чтобы обсушиться.

Передо мной довольно далеко шли две дамы, в одной из которых я узнал М. Г. К., живущую на Вас[ильевском] Остр[ове], и к которой я собирался ехать, чтобы узнать, нет ли чего нового про Гогу, решил ее догнать, расспросить и этим избавиться от путешествия на остров. Столкнувшись с кем-то идущим навстречу, на минуту потерял их из виду, но затем увидел, что они вошли в один из подъездов. Вошел туда и увидел, что нахожусь в гостинице «Дагмар»[6], где помещается Датский Красный Крест. Но там внизу оказалось такое скопление народа, также и на лестнице, идущей вверх, что сначала не мог понять, что такое случилось. Дам моих не оказалось, насколько я мог различить. Решил, что в этой толпе людей, вероятно пришедших за получением провизии, посылок, паспортов, не пробиться, и меня даже сомнение взяло, не ошибся ли я подъездом, так как что им было делать в Датском Кр. Кресте?

Повернулся, чтобы выйти, но к удивлению моему, оказавшийся за мной красноармеец, которого я при входе не заметил, взялся за ручку двери и заявил мне довольно грубо: «Я вас не выпушу». Я говорю: «Как это, я только что вошел?» «Не выпушу». Я сразу понял, что производится облава или обыск и что я попал в мышеловку. Первое чувство страшной досады и обиды, что сыграл такого дурака. Затем решил, что вероятно это недоразумение скоро выяснится и публику выпустят. На часы осматривался и тут только заметил перекошенные лица у большинства публики, недоумевающие улыбки, а то и слезы у многих женщин на глазах. Дверь на улицу поминутно раскрывалась, входящие с удивлением останавливались, поворачивались, чтобы выйти, и не выпускались. Послышался женский плач, взвизгивания, крики. Решил пробиться наверх, поста-

[3] С. Н. Тройницкий (1882–1948) — директор Государственного Эрмитажа (1918–1927).

[4] Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков (1874–1941) — в 1918–1919 гг. был хранителем отдела рисунков и гравюр Эрмитажа.

[5] Книжный магазин «Мелье и К°», Невский пр., 20.

[6] Садовая ул., 9–11.

раться узнать, нет ли там Ионина, чтобы он меня выручил. На лестнице давка, но дальше первой площадки вооруженный красноармеец никого не пропускает. Очутился рядом с Кнорингом, который говорит, что уже вызвал Ионина и ждет его уже полтора часа, и прибавляется: «и вам долго придется еще прождать». Мимо нас протискивается красноармеец, которому Кнорринг спокойно говорит: скажите в канцелярии Ионину, что офицер красной армии, который его вызывал вниз, просит его скорей спуститься. Минут через 10 появляется Ионин, говорит что-то караульному, и тот пропускает Кнорринга. Тут Ионин делает знак, что он вернется за мной. Визги и плач усиливаются, воют бабы в платках, очевидно, прислуга, посланная за провизией; много дам на вид финок и немок; из мужчин большинство финны, шведы или датчане. Возвращается Ионин, бледный, но спокойный, хотя и озабоченный лицом, и меня пропускают. Вводят меня в 3-й этаж, где за несколькими письменными столами производится, очевидно, проверка документов. Ионин меня подводит к одному их столов, у которого сидит господин, допрос которого кончается. Я держу в руках его удостоверение из Эрмитажа. Ионин, улыбаясь, говорит: «Верно, и кошек есть?». Ко мне обращается прилизанный молодой человек, сидящий за столом, в тужурке и кольцами на всех пальцах, берет удостоверение и начинает заполнять печатный бланк протокола красными чернилами, списывал с удостоверения мое имя, отчество и фамилию. Задал вопросы: сколько лет, где родился. Какое подданство, какой природный язык? «Занятия». Я говорю: «Служба» и показываю на удостоверение, что я состою ассистентом Историко-Художественного отдела Эрмитажа. «Историк?» Отвечаю: «Если хотите». «Какие у вас еще бумаги?» — Я вынимаю из бумажника и высыпаю на стол продовольственную, и столовую карточки, табачную, разные ненужные бумажки и пр. Отбирается удостоверение Эрмитажа, свидетельство дом[ового] ком[итета] бедноты на право покупки пары бинтов-обмоток и заявление сестры моей в банк о переводе ее текущего в отделение сберегательной кассы. Их вкладывают в отдельный конверт с моей фамилией. «Деньги есть?» Я показываю карман бумажника; бегло заглядывает туда, не вынимая и не считая. «А еще есть?» Говорю: «Нет». Говорит: «Идите отсюда в комнату налево, где ждут; вам покажут». Спрашиваю: «А документы?» — «Вернут потом». Подписываю протокол. Ионин подходит и говорит: «Vous attendrez quelque tempo et quand on vous relanchera on vous rendra vos documents». Но у меня уже впечатление, что он сам арестован, и я больше не расспрашиваю. Выхожу, караульный указывает мне на другую дверь, и я оказываюсь в довольно большой комнате, полной народа. Ищу Кнорринга, его нет. Значит, его уже выпустили. В комнате человек 100, дам и мужчин; общее впечатление такое же, как в солдатском клубе Павловского полка при моем аресте 25 октября 1917 г. Меня останавливает пожилой господин, сидящий на стуле посреди комнаты, спрашивает: «Вы не Казнаков?». Я его не узнаю; называется: «Шипов, бывший преображенец»; напоминает, что лет 35 тому назад танцевал с сестрами на балах, меня помнит в Лицее. Сажусь рядом; рассказывает, что сидит здесь

уже несколько часов, зайдя сюда, чтобы получить посылку из Дании, о которой получил извещение от Датского Кр[асного] Креста. Сидим довольно долго; выйдя на лестницу, видишь, что внизу столпотворение продолжается. Спрашиваю: «Кормят ли?». Шипов говорит, что что-то такое давали, подзывает горничную и что-то ей говорит. Через несколько времени она приносит небольшую миску советского супа и две деревянных ложки. Шипов предлагает расхлебать по-солдатски, что я и делаю с удовольствием, т[ак] к[ак] кроме завтрака в столовой и чаю дома ничего в желудке не было, а уже было 8 с половиной ч[асов]. В 9 часов вечера всех вызывают и ведут не вниз, а на самый верх, в 7-й этаж, в мансардные помещения. Шипов плохо передвигает ноги, которые у него были парализованы, и он 6 месяцев лежал в Николаевском госпитале. Когда мы с ним добрались наверх, нам указал красноармеец комнату с одним окном, открытым, к счастью, где находилось уже человек 12 мужчин. Обыкновенный № гостиницы 3-го разряда, мебель мягкая, крытая бархатом, кровать с матрасом, но без подушек, на которой растянулось уже 3 человека. Разместились довольно удобно; Шипов на кушетке с двумя другими, я рядом на отдельном стуле. Ждем; в коридоре толпится масса женщин (они помещены в комнатах по другую сторону коридора). На площадке и на лестнице тоже толпятся люди, съежившись головами вниз или сидя на ступенях. Внизу всё опустело, но вся гостиница освещена аджорно[7]. Встречаю знакомого, бывшего швейцара (из кавалергардов 2[-го] эскадрона) дома № 11 на Миллионной; теперь он швейцар дома на Вишневской 51, купленного Датским Посольством. Пришел сюда с поручением от одной сестры Кр[асного] Креста и арестован так же, как и шофер Ганзена. Он говорит, что и Ганзена, и Ионина, все сестры и все служащие в Датском Кр[асном] Кресте арестованы. Вижу, что дело дрянь. Всего, говорят, находится в «Дагмарах» до 3000 ч[еловек] арестованных. Убеждены, что раньше следующего утра не выбраться: уже 10 часов, а позже 11-ти выходить на улицу ведь нельзя. До 12-ти сижу у Шиповых, толкаюсь по коридору и площадке. Какая-то служащая, худая до безобразия, по акценту очевидно еврейка, еле грамотная, по списку ищет служащих Д[атского] Кр[асного] Креста, выкрикивая имена, которых никто не может разобрать. В 12 ч[асов] нахожу стул на площадке в углу и решаю на нем провести ночь, т[ак] к[ак] в комнате душно. Усаживаюсь у перил наблюдать, что будет. Около 1 часу ночи снизу поднимается еще толпа женщин и мужчин, нервных, измученных; их тоже размещают у нас наверху, где уже яблоку некуда упасть. Пронесся слух, что будут давать сухари. Это приятно; я голоден страшно, мокрый, усталый, а спать не хочу, да и не на чем. Ругаю себя вовсю за то, что сделал вещь, которая в другой день была бы вполне обыкновенна! Смотрю, как обстоят дела с папиросами: ничего, 15 штук. Решаю курить не больше одной в час, пока не выяснится положение. В 3 часа ночи действительно появляются двое людей с подносами с колоссальными датскими галетами из ржаной муки,

[7] Искусственное освещение, по силе приближающееся к дневному свету.

сделанными на машине, величиной с большую тарелку. Все бросаются на несущих, как голодные псы. Я остаюсь спокойно на месте, и когда проходят мимо меня, получаю лепешку, очень вкусную. Ломаю ее на куски и кладу в карман пальто и начинаю жевать. Проносят еще оставшиеся от раздачи галеты, и я неожиданно получаю еще одну. Решаю, что этого хватит, по крайней мере, на сутки. Так проходит ночь. В 6 ч[асов] утра большое движение, всех зовут вниз. Иду за Шиповым, который говорит, что хорошо поспал. На лестнице давка, все бегут как угорелые, убежденные, что выпускают. Я думаю: «Tout est bien qui finit bien» и что лепешки будут очень вкусными с утренним кофе. Спускаемся до самого низа; действительно, дверь на улицу отворена; мы выходим; совсем светло и сразу стало легко и хорошо дышаться. Но где же документы и отчего их не возвратили? Тут только понял, что еще не конец. На мостовой, направо, у самого тротуара, лицом к домам стоит цепь вооруженных красноармейцев и все поворачиваются направо, до первого подъезда, где путь по тротуару прегражден караульным, так же как и налево от гостиницы «Дагмар». Вижу, что все входят в этот подъезд. Ну, думаю, тут будут возвращать документы. Подымаемся на второй этаж. Разочарование — полное!

21 мая. Вторник

Огромная зала бывшего ресторана «Прага», обращенная затем в казарму, в 11 окон на улицу, загаженная, с грязными стенами, какими-то усыпанными дымоходами, с эстрадой для музыкантов на одном конце. На потолке сохранилась живопись и электрические лампочки, благодаря лишь тому, очевидно, что до них трудно добраться. В зале уже толпа народа, большинство лежит на кроватях; духота и запах ужасный! Кроме нас всех, мужчин из «Дагмары» (женщин всех оставили там), сюда уже в 5 часов утра перевели задержанных, как и мы вчера в «Дагмаре», но остававшихся в столовой внизу, которых мы и не видали. Встретил тут Шелькинга[8], который мне это и рассказывал. Он попался вчера в 5 ч[асов] также, говорит, случайно, как и я, но у него отобрали и бумаги и деньги (400 р.) и составили протокол в 2-х экземплярах, что его особенно беспокоит, не знаю почему. Когда его допрашивали, он просил, чтобы его аресты дали знать комиссару отдела охраны памятников искусства и старины в З[имнем] Дворце, где он служит Ерыкалову[9]; но ему на это ничего не ответили. Настроение тут у всех довольно мрачное; Шипов уже слышал, что отсюда переведут на Шпалерную, многих оставят заложниками и т.д. Публика

[8] Трудно сказать, кто из братьев баронов фон Шелькинг в данном случае имеется в виду: Николай Николаевич, действительный статский советник, камергер (с 1908 г.), секретарь председателя совета министров Горемыкина, или дипломат Евгений Николаевич, до войны занимавший пост секретаря в российском посольстве в Берлине и Гааге, позднее занимавшийся публицистической деятельностью.

[9] В. И. Ерыкалов — глава Петроградского подотдела Государственного музейного фонда. В 1920 г. был членом комиссии по вывозу экспонатов Эрмитажа из Москвы в Петроград.

тут довольно разношерстная, но громадное большинство всё же финны и финляндские подданные, много совсем простых чухон. У дверей внутрь и снаружи и у окон (через каждые 3 окна) сидят вооруженные «коммунисты» очень типичные, молодые, со скотским выражением лица, очумелым, совершенно бессмысленным взглядом. Просто жалко их: что происходит в их глупых башках?

Два окна полуоткрыты, но, несмотря на это, воздух сперт и смрад отчаянный. Уборная рядом, но в каком виде! Понемногу осматриваюсь; Шипов нашел пустую кровать и примостился на ней с маленьким чемоданчиком под головой. Я, не спавший всю ночь, тоже хотел бы растянуться, но на чем? В комнате около 200 чел. Кроватей не более 70–80; они железные, некоторые совсем без переплетов; только одна со спинкой и штук 20 с досками, а переплеты с такими отверстиями, что в них можно провалиться. Наконец случайно освободилась одна из кроватей с досками, и я поспешил ее занять, так как ее обладатели решили вставать. На ней я пролежал часа два, но только дремал, так как мешали шум, трамваи и, главное, постоянные вызовы комиссаром лиц, которым приносились посылки с едой и имена коих, все чухонские, раздавались по всем углам. Оказывается, что почти все задержанные являлись вчера для визирования паспортов, так что их семьи знали, куда они пошли и с утра стали им приносить пищу и, как я видел, великолепную: молоко, яйца, бутерброды с маслом, кофе, хлеб. Они ели и делились между собой. Тут я подумал в первый раз, что может никто ничего не пришлет, т[ак] к[ак] никто не знает, куда я делся, а дать знать о себе невозможно иначе как через освобожденного знакомого, т[ак] к[ак] писем и записок посылать не разрешалось. Моя Аннета вероятно думает, что меня убили на улице; в Эрмитаже разве, когда узнают об аресте датского Кр[асного] Креста, и что я дома не ночевал, догадываются, что я мог случайно очутиться там, но это исключительно дело сметки и рассчитывать на это трудно. Тут, очевидно, кормить не собираются, во всяком случае, не скоро. Раскидываю в уме, какие у меня запасы продовольствия, чтобы не умереть с голоду. Благодаря полученным ночью лепешкам, сухарей у меня хватит на 24 часа с лишним, хотя часть я уже раздал: Шипову, который проспал свою лепешку, и Шелькингу, который со вчерашнего дня ничего не ел, т[ак] к[ак] внизу лепешки не раздавали. Решили с ним, что кого раньше выпустят, тот даст знать о другом. Кроме того в кармане пальто нашел два сырка, которые купил вчера на Надеждинской, по 8 р. за штуку к моему вечернему чаю. Ничего, проживем. Но самое опасное, это — папиросы. Их оказалось по подсчетам в 8 утра — 12 штук. Уже ночью решил воспользоваться неизбежностью, чтобы отучиться от курения и избавить себя от необходимости платить по 1 р. за папиросу. Решил теперь курить по одной папиросе каждые 3 часа, т.е. в 9 ч[асов], 12 ч[асов] и т.д. Ночью, по одной в час, мне это удалось легко. Теперь сделал открытие, что если пожевать маленький кусочек сухаря всякий раз, что захочется курить, то это заменяет папиросу и вместе с тем утоляется чувство голода. Жажда меня совсем не мучила, хотя ничего не пил со вчерашнего дня. Расхаживаю по залу

и делаю наблюдения. Светло, на улице солнце, небо голубое, но воздух! Дежурные красные очень грубы: грубо окликаются, даже отталкивают, кто слишком высовывается в полуоткрытые два окна. А охотников много, т[ак] к[ак] домашние, принесшие посылки, переходят на противоположный тротуар у Pavillon de Paris[10] и ждут появления узника у окна. Некоторым даже удается, когда красный зазевался, подойти и обменяться приветствиями. А прибытие посылок не прекращается, молодой комиссар их приносит, выкликивает фамилию адресата, при нем их рассматривает и вручает ему под расписку. Многие на расписках приписывали несколько слов; таким он грубым тоном кричал: «Я у вас требую расписки, а вы мне даете записки, я их буду рвать», и тут же их рвал и бросал на пол. Отхожу; время тянется бесконечно. Подсаживаюсь к Шипову и тут же знакомлюсь с молодым офицером, которого уже вчера заметил наверху, где он меня поразил своей беспечной веселостью. Это оказывается Воронец, родной племянник трех главных братьев Пановых, ахтырских гусар; 4-й моряк, умер-то уже этой зимой. Мать пережила их всех и до сих пор находится здесь, ему 22 года; он хорошо знает В.Я. Валдан, недалеко от их жития и от которых он много слышал. Затем познакомился случайно с одним финляндским подданным, чиновником почтамта, очень тоскующим, и двумя англичанами, принявшими меня почему-то за соотечественника. Один из них, владелец магазина хирургических инструментов, пришел вчера в Датский Кр[асный] Крест, как всегда обедать, и попался. Бедный Шипов очень спокоен, лежит на своей кровати посреди комнаты, сегодня именины его дочери, Елены, и он не знает, как ей дать знать, что он задержан тут, а она, очевидно, не догадывается. Угощаю его сухарями, сам курю и выдерживаю без курения до 12 часов. После папиросы настроение у меня становится лучше, а то всё себя ругал за то, что попал сюда, хотя не я виноват, а судьба. Шитов попросил у меня кусочек бумаги, который я вырвал из записной книжки, карандаш и, сказав, что хорошо схватывает сходства, начал рисовать мой портрет, очень похожий, хотя и польщенный, он уверяет, что я совсем не изменился за те 30 лет, что он меня не видал! А я его совсем не помню! Рассказывает, что его совсем не беспокоили ни обысками, ни арестами уже полтора года, что он здесь, на квартире, где умерла его мать. Существует лишь [на] заработок со своих акварелей, т[ак] к[ак] продолжает рисовать сцены из военного быта и, несмотря на малый теперь спрос на такие вещи, продает их, а также заказываемые ему портреты по 150 и 200 рублей. Мой новый знакомый, почтамтский чиновник, получивший посылку, приносит мне кусочек черного хлеба с маслом и кусочек шоколаду. Я сначала отказывался, но пришлось взять, так он настаивал. За него попросил Шипова нарисовать его портрет для его невесты. Что он обещал сделать... завтра!!! Караул сменяется каждые 3 часа; вновь вступивший оказывается любезнее; позволяет подходить к окнам, уже открытым настежь и у них толпа, обменивающаяся знаками с род-

[10] Имеется в виду театр миниатюр «Pavilion De Paris» в доме № 12 по Садовой улице.

ственниками на улицах, между которыми много дам, которых патруль на другом тротуаре довольно вяло приглашал расходиться. А выводы за посылками не умолкаются; думаю, что если бы вызвали не за посылками, а для допроса и освобождения, то уже давно никого бы не осталось тут. Удивительно, сколько получается разной, когда знаешь, что стоит теперь, а большинство на вид совсем бедные люди, рабочие, финны. Значит, деньги есть у всех. Виноват, забыл, что рабочий теперь богаче любого буржуя. Но, очевидно, и кроме меня, Шипова и Шелькинга есть такие, которые ничего не получают, и эти, конечно, голодают и, при каждом появлении комиссара с посылками, начинают громко кричать: «Дайте хлеба». Голоса их становятся всё громче и настойчивее, и на меня это производит жуткое впечатление. Воронец сообщает мне, что начальник караула позволил послать за папиросами; надо было записываться, но опоздал на первую очередь и попытал во вторую, для которой пошлют, когда вернется досланный для первой очереди. Ура! По этому случаю выкуриваю одну не в счет. Настроение еще улучшается, но что скверно — это полная неизвестность того, что нас ожидает, когда о нас вспомнят и когда выпустят, если и выпустят. Пока никого еще не вызвали в следственную комиссию, которая, говорят, запоздает рядом, в гост[инице] «Дагмара». Говорят, там еще осталось около 1000 человек. Ведь должны же допросить всё же, но сколько это займет времени, если надо еще установить для каждого, кто зачем сюда пришел вчера и, чего доброго, проверить показания! Начинаю сомневаться, чтобы сегодня нас выпустили. По временам кажется, что вызывают всех; тогда все бросаются к выходу, но всякий раз оказывается, что это ложная тревога, и мы перестаем обращать на это внимание. Очень удручен Шелькинг, сидит одиноко, ни с кем не разговаривает. Наша компания веселая, собирается вокруг Шипова, который нарисовал еще портрет одного финляндца. Приносят первую партию папирос и, о ужас! мне возвращают мои 40 и говорят, что новый начальник караула запретил посылать за папиросами, а я, на радостях, выкурил незаметно не одну, а три экстренных, да еще угостил моего знакомого финляндского почтамтского чиновника. Опять перехожу на диету. Спать хочется, но немыслимо; пить, к удивлению, совсем не хочется. Вот уже 8 часов вечера. До сих пор никого не вызвали в следственную комнату, кроме Шелькинга, часа 3 тому назад; он ушел со своей корзиночкой и не вернулся; если его выпустили, завтра уже обо мне будут знать и что-нибудь принесут поесть. Вдруг, видим движение у дверей: приносят в двух больших корзинах хлеб. Молодой комиссар с трудом протискивается в тот конец зала, где мы сидим, между обступившими его голодными финнами. Некоторые сами пытаются взять хлеб из корзинки, грубо отталкиваются. Потом мне рассказывали, что он им закричал: «первый, кто сам возьмет хлеб, будет на месте... расстрелян». Многие расхохотались, и он сам рассмеялся. Получили потом по фунту хлеба; мне дали горбушку, я попросил обменять на мягкий кусочек и получил таковой. Вместе с тем Бог послал и обед; между новыми моими знакомыми есть крайне симпатичный господин, бывший

присяжный поверенный Зайдеман; разговорившись, мы нашли в себе одну общую черту — оба страдаем глухотой, но он в гораздо меньшей степени, чем я; нашли общих знакомых, Серебряковых, Сиверса (Ал. Ал.)[11]. Зайдеман служит в архиве комиссариата просвещения. Он только что получил из дому посылку и предложил мне бутерброд с мясом, превкусный. Съел и кусок черного хлеба с остатком моего сырка. Вот я и пообедал, но только теперь уже хочется пить.

Около 9 ч[асов] вечера опять большое движение. Появился комиссар и посреди залы громким голосом несколько раз скомандовал, чтобы все финны стали отдельно в очередь, а все русские и подданные других государств — отдельно. Слава Богу, хоть разверстка начинается. В конце концов, нас, русских, англичан, поляков, одного немца, всего человек 30–40, загнали в противоположный конец залы, на «бывшую» (теперь всё «бывшие») эстраду для оркестра, откуда хорошо видно, что происходит в зале, Молодой чиновник, вероятно следственной комиссии, поместился на другом конце, у нашего окна, и финны, один за другим подходили, что-то подписывали и оставались в зале. Это продолжалось до 10 часов, когда в хвосте стали и мы. Записывалось имя, отчество, фамилия, адрес и давалось подписываться. Кончилось все в 10 ч[асов] 40 мин[ут]. Затем опять полная неизвестность; ясно, что если решат выпустить, то должны об этом объявить сейчас, т[ак] к[ак] после 11-ти выход на улицу без особых пропусков запрещен. Но вот уже 11, 11 с половиной, 12. Начинают устраиваться на ночь; большинство, в том числе Зайдеман и я надеются, что это последняя. Но я чувствую, что эту ночь должен спать лежа, иначе не выдержу. Начинаю искать места, но ни одной половины кровати не только с досками, но с переплетом даже нет. Свободны такие, на которых лежать не на чем, и люди спят под ними, чтобы на них не наступили. Не долго думая, решил лечь на пол. Заснуть на несколько часов необходимо и для экономии папирос: осталось всего 4 штуки. Но я горжусь тем, что ни у кого не просил и только одну меня заставил взять Воронец, а сам даже дал две просившим у меня. Нашел место относительно чистое, обтер его газетой, положил пальто под голову и растянулся недалеко от нашего окна, где компания спокойная, уже разместилась кто как мог. Бедный З. опять на стуле. Уже 12 ½. Хорош будет завтра мой костюм. Накрыл лицо мягкой, к счастью, моей шляпой в защиту от чьего-нибудь каблука и заснул моментально.

22 мая. Среда

Спал всю ночь как убитый, просыпаясь на секундочку, чтобы переменить положение, от боли то в плече, то в спине. В 8 ч[асов] встал, т[ак] к[ак] спать больше нельзя было: пол дрожал от ходьбы, шума и возни. Вымыл лицо и руки; мыла и полотенца не было. Платье оказалось только в пыли, вытряс его как

[11] Александр Александрович Сиверс (1866–1954) — в 1914–1917 гг. помощник начальника Главного управления уделов; нумизмат.

мог, надел пальто, съел кусочек черного хлеба и засел за дневник. Очень рад, что надумал это, что оказалось на мне записная книжка и карандаш. Время со вчерашнего дня, что я его начал, стало проходить совсем незаметно и настроение стало лучше. Вот уже 11 часов. Вызовы за посылками уже давно начались. Надзор красных стал гораздо легче, позволяют даже сидеть на окнах, только останавливают, если услышат, что переговоры с улицей станут чересчур явными. Вот окна открыты настежь, воздух типичный, день прекрасный, солнечный, пишу у окна. Пока я писал, милейший Зейдеман принес мне холодного кофе, с молоком и сахаром, который я выпил с наслаждением (первое питье за 40 часов!). Воронец приносит бутерброды: черный хлеб с ½ крутого яйца, затем финляндский чиновник с почтамта несет крутое яйцо. Целый пир! Новый начальник караула разрешил послать за папиросами. За 22 р. я получил 22 шт. Невы и в восторге выкурил одну за другою мои две последние. Продолжаю писать. Гаттенфельд, молодой офицер, вновь призванный, приносит мне мясную котлету, внутри картофельное пюре. Удивительно как все милы и добры ко мне. Уже скоро 2 часа, но никто ничего нового не слышал. Раздают всем по куску черного хлеба без вчерашней церемонии и угроз — расстрелом. Шипов нарисовал портрет моего финляндца, и он в восторге. Появился кипяток, достал кружку, всыпал немного сахарину, который оказался у меня в кармане, выпил с жадностью. Пишу, и не замечаю, как время проходит. Если, чего доброго, окажусь на Шпалерной, но буду в отдельной камере, с кроватью, бельем, возможностью мыться, если позволят, как всем, иметь книги, посылки из дома, читать и писать, думаю, что просуществую сносно. Вспоминаю дневник Н. М. и вообще начинаю понимать многое, что в нем казалось непонятным. По временам прекращаю писать, разгуливаю по залу. Шипов нарисовал еще два портрета: Воронца и еще одного офицера, но в 2 часа его вызвали в следственную комиссию. Я не видел, как он ушел. Начинают, говорят, вызывать туда изредка по 7–8 чел., которые не возвращаются. Не возвращается и Шипов. Я просил всех друзей следить за моей фамилией, об этом предупрежден и караульный. Но Шипова, как и Шелькинга, вызвали одного, только финляндцев вызывают группами. Не знаю хороший ли или дурной знак быть вызванным отдельно; думается, скорее, что нет; значит, обращено «особое внимание». Задержанных так же случайно как я, здесь масса, а вызвали только двоих. Наконец появился, как говорит Зейдеман, «выходец с того света». Его спросили, зачем он приходил в Датск[ий] Кр[асный] Крест? Он ответил, что приходил, чтобы визировать паспорт, и его вернули назад. Тем временем добровольческая компания занялась уборкой палаты: спрыснули пол водой, вымели окурки и остатки бумаги, но, увы, через полчаса всё это появляется снова, так как у всех почти кроватей пикники. Позволили выписать желающих минеральную воду и пиво; я получил ½ бутылки Ессентуки: 20 р.! В палате оказался больной, у одного пожилого господина выпала, кажется, грыжа; привели доктора, который что-то ему сделал, но по его просьбе оставил лежать тут, на единственной

кровати с сеткой. Доктора обступили и стали жаловаться на то, что не кормят, прося, чтобы давали обед; он пожимал плечами, говоря, что уже говорил, но что комиссия с ним не считается, что его вызывают только для подачи помощи. Но благодаря ему, вероятно, через несколько времени принесли в палату ведро горячего чаю, но я за писанием прозевал и узнал только потом. Мне начинает действовать на нервы англичанин, владелец магазина с хирургическими инструментами. Он получает посылки, несмотря на это все время шляется по залу и присаживается ко всем компаниям, знакомым и не знакомым, благодаря чему ест и пьет с утра до ночи, во всех углах зала. У меня уже несколько раз клянчил папиросы, и я только что с удовольствием ему отказывал.

Я не голоден, но хотелось бы получить посылку, т[ак] к[ак] это означало бы, что знают, где я нахожусь. Если Шелькинга вчера выпустили, то он, надеюсь, уже дал знать в Эрмитаж; оттуда сообщили, конечно, ко мне на квартиру; но от Аннеты все-таки никакого проявления инициативы в этом духе ждать, боюсь не приходится.

Наблюдал интересную сцену. У нашего, крайнего, ближе к Невскому окна заседают обыкновенно: архитектор Соколов, Зейдеман, молодой офицерик Бендт, я и еще один молодой, бывший присяжный поверенный, по имени Павилль, хорошо говорящий по-английски и объявивший мне, что он «barrister at law»[12], так что я вначале подумал, что он англичанин. На фуражке у него какой-то красноармейский значок, я не спрашиваю, что это такое. Пока я пишу, замечаю, что он обменивается знаками с одной особой женского пола, стоящей у одного из окон верхнего этажа Pavillon de Paris у открытой форточки. Пантомима очень оживленна, он волнуется, улыбается, показывает на себя, кивая головою, потом на всю залу, опять кивая головою, губы вопросительно шепчут «завтра»; наконец делает вид, что пишет. Девица или дама исчезает. Мы все время с ним говорим по-английски, и он мне объясняет, что служит в Pavillion de Paris, кем не знаю, и что там же служит и его невеста, которая ему только что сообщила, что завтра он будет освобожден, что он хотел узнать, будут ли освобождены и все остальные, но не мог понять и просил, чтобы она это написала и показала в окно написанное. Как она может что-нибудь знать, я не спрашивал; вероятно, члены следовательной комиссии заняты не нами одними, а находят время и зайти в Pavillon de Paris!!!

В 4 часа проносятся слухи, что нас всех сегодня освободят. С Шиповым ничего не известно, хотя говорят, что его не освободили. Он ушел, не простившись ни с кем, и хотя Воронец и другие караулили у окна, но не видели его входящим. Вид у него, действительно, немного «генеральский» — папаха с галунами, георгиевская ленточка в петлице. Бледный, неужели его оставили заложником? Затем кто-то рассказывает, что следственная комиссия спохватилась, что арестованных 1400 чел[овек], что если всех допрашивать, то это будет продолжаться

[12] Адвокат.

до второго пришествия, причем «виновных» найдется, может быть один % и что в 6 часов соберется заседание, чтобы обсудить, какие принять меры, чтобы скорее с нами разделаться. Я спрашиваю: «До расстрела включительно?» Еще говорят, что вышло распоряжение посылок больше не приносить, т[ак] к[ак] решено в 6 ч[асов] всех выпустить без допроса. Что-то не верится, хотя, действительно, вызовы покупателей с 5-ти часов прекратились.

Около 6-ти опять общее волнение, появление кого-то у дверей залы, распоряжение закрыть окна (ай, ай), приказание всем оставаться на местах и, в конце концов — разделение всех на две партии, как вчера: финны (огромное большинство) и не финны. Кто-то выражает мнение, что комиссия решила всех финнов освободить, а остальных допросить. Довольно логично и потому — неправдоподобно. Это не замедлило и подтвердится: кончилось тем, что финнов увели, но не всех, а оставили приблизительно столько, чтобы с нами оказалось число более или менее равное числу ушедших. Так зачем же было огород городить, а не сразу разделить всех на две партии? Подсматривают в окно — их повели в гостиницу «Дагмар». Мы ждем; вдруг слышно, что финны идут обратно. Что же это, наконец, ведь и 10-ти минут не прошло с тех пор, что они ушли. И действительно они входят, хмурые, иные с язвительными улыбками, их осыпают вопросами «что такое, в чем дело?» Многие отмалчиваются, а нам ведь запрещено сходить с места, но слышно: «обед», «они говорят: принесите оттуда хлеба». Когда они прошли, вывели и нас, провели, как вчера вели сюда, перед выстроенным вдоль тротуара караулом. Публика на улице останавливалась и смотрела. У меня — то же чувство, что было, когда в 1917 г. стоял в хвосте на Миллионной за яйцами для лазарета, желание встретить знакомого. Просто смешно и ничего больше. Вышли в злополучный подъезд «Дагмар»'ы, еще минут 5 простояли в передней, а затем попали в большую ярко освещенную столовую внизу, с зелеными бархатными диванами, зеркалами, панно Клевера на стенах с большими зеркальными окнами на улицу с спущенными шторами. По очереди подходим и получаем по 1/3 небольшой миски горячего манного супа, разливаемого сестрой милосердия с Кр[асным] Крестом на груди и длинным белым платком; вся она в белом, высокая, довольно видная. Ни хлеба, ни второго блюда. Но суп куда лучше советских щей и борщей. Всё продолжалось минут пять, и тем же порядком мы вернулись назад. Решительно не знаем, что будет дальше, но я думаю, что не будет ничего; кажется довольно на сегодня и не выпустят наверное, а то не стали бы кормить. Придется опять спать на полу. Но общее настроение скорее выжидательное.

Чудеса, да и только: около 9 ч[асов] вечера опять столпотворение. Приказано всем финнам выходить. В минут зала опустела: из 192 ч[еловек] осталось 36. Их опять повели в «Дагмару». Кто говорит, что освобождают, кто — что остаемся заложниками. Я уже предвкушаю возможность спать на кровати — финны ушли со своими вещами и кроватей с досками хватит на всех. Я уже наметил и занял свою. Красноармеец обещает принести кипяток; З. обещает напоить

меня чаем и угостить ужином! Смотрим из окон, не выпускают ли финнов: ничего не видно, караул снят. Кипяток заставляет себя ждать; З. угощает меня крутым яйцом, как я ни отказываюсь; с нами сидят Соколов, Павилль и молодой офицерик Бент — поляк. Он был призван, попал в какую-то часть в Минск, приехал сюда недель 6–7 тому назад в командировку за папиросами, пошел в дат[ский] Крест по поручению матери, чтобы узнать, может ли она получить заграничный паспорт, и вляпался. Приносят кипяток; уже 10 ½ часов.

Не успели заварить чай, как нам приказывают сию же минуту идти в «Дагмару», торопятся, кричат: скорей, скорей. Приходится бросать всё и чуть ли не бежать. На улице опять караул; нас выводят в ту же столовую, пустую, и велят ждать. Расселись на диванах и ждем. Узнаем, что финны наверху, что все женщины, которые остались в «Дагмаре», выпущены. Ждем часа два (зачем нас так торопили?). Подсматриваем в окно (занавесы спущены) — караул исчез. Решили, что нас будут допрашивать и назад в «Прагу» не поведут. А у кого есть вещи — все остались там. Уныние. Уже после 12-ти ночи велят выходить; у дверей столовой пропускают первых человек 20; остальным, 16-ти приказано оставаться, в том числе и я. Сели, смотрим в окно: о ужас! Караул выстроили опять, и все наши финны возвращаются обратно в «Прагу». Прощай мечты о спокойном сне! Но З. решает, что Финляндия объявила войну, что узнали, что она начала наступление, что финны остаются заложниками, а нас допросят, оставят ночевать в «Дагмаре», а завтра утром выпустят. Вдруг раздают нам чай. Едва дали допить, велят идти наверх. Поднялись на 1-й этаж, повернули в коридоре направо; в эту минуту во всей гостинице тухнет электричество. Темнота, суматоха, какие-то девицы бегут с вещами и лампами. Рядом со мной караульный кричит: «Зачем тушили?» Нас выстраивают в очередь; из первой партии наших не видно никого. Велят по очереди входить в дверь налево, «когда из нее выйдет другой». Я стою 4 или 5 и слежу с интересом за собой — никакого беспокойства не чувствую; сердце не бьется, как в былые времена перед экзаменом; я собой доволен. Сквозь открывающуюся дверь видны столы с лампочками, за ними какие-то чиновники в тужурках и женщины. Очевидно допрос; обдумываю, что сказать, чтобы вышло короче; не хочу упоминать фамилий, чтобы не вызвать лишних расспросов. Вхожу; налево у стола сидит молодая особа, вороная, с раскрасневшимся лицом, bi pince-нез и довольно свирепым видом, в белой шелковой блузке с довольно большим декольте. Она мне делает рукой повелительный жест подойти. Я подхожу и стараюсь стать налево от нее. Она показывает перед собою: «сюда». Я говорю, что я с левой стороны лучше слышу. Она нетерпеливо и резко: «Если вы не слышите, так отчего же вы становитесь так далеко?» Но говорит довольно громко. Имя, отчество, фамилия, сколько лет — опять всё записывает. Уже 3-й раз! «Какое занятие?» Говорю; делает вид, что не понимает, пожимает плечами, смотрит с насмешливым видом на сидящего рядом чиновника, который чрезвычайно корректно слово в слово повторяет ей то, что я говорю. Наконец усвоила: «ассистент историко-художе-

ственного отдела». «Где?» — Повторяю: «Эрмитаж». (Чуть не сорвалось с языка «Императорский», но вовремя запнулся). Она повторяет, будто не понимает: «Эрмитаж?». Чиновник ей что-то говорит, чего я не слышу. Замечаю, что у него в руках будто бы один из снятых с меня протоколов. Наконец: «Как вы сюда попали?» Смотрит на меня с вызывающим видом. Говорю: «Совершенно случайно: мне показалось, что одна моя знакомая, шедшая впереди меня, зашла в этот подъезд; так как я хотел с ней поговорить, то влетел в дверь, вижу, что ее нет, хотел выйти и меня не выпустили». К моему остолбенению она начинает прямо хохотать: «Ах, показалось? Хи-хи-хи, знакомая дама? (толкает локтем чиновника). Верно молодая?» Я говорю: «Представьте, даже не молодая, а пожилая». — «Ха-ха-ха, а если бы была молодая, было бы не так досадно?» Тут уже я сам не удержался и начал смеяться. Отвечаю: «Не знаю, может быть было бы менее досадно». Вижу, что она что-то записывает, но очень скоро; всего записать, наверно не успела; затем красными чернилами делает какую-то пометку в углу; ну точь-в-точь как ставят балл на экзаменах. Затем показывает рукою на дверь и говорит: «Идите». Выхожу, меня направляют в комнату напротив, по ту сторону коридора. Там нахожу уже Соколова, китайца, Зейдемана и других, уже допрошенных из нашей партии. Еще ¼ часа, допросили всех буквально одинаково, поставили им красные отметки и нас выводят на улицу, мимо караула, обратно в «Прагу». Входим: все кровати опять заняты финнами и нашими из первой партии. Большинство уже спит вповалку. Еле находится в нашем углу одна пустая кровать, и даже стулья наши исчезли. Но никому, кажется, спать не хочется; обмениваемся впечатлениями и З. опять нас угощает. Уже 4 часа ночи, начинается светать. Я опять ложусь на пол; на этот раз неудачно: очень больно лежать. Заснул все-таки до 6 ½ ч.

23 мая. Четверг

В 8 ч[асов] утра началось общее вставание; финны тоже ничего не знают, но физиономии у них мрачные; упорный слух держится, что нас отправляют сегодня ночью в Москву. Относительно вчерашнего допроса говорят, что красными чернилами ставились цифры римские, от I до V, что цифра I означала освобождение, II — оставить до выяснения; III, IV и V категории, подлежащие отправлению в Москву: финны, другие иностранцы, «дезертиры» и пр. Многие видели у себя цифру V; из наших, архитектор Соколов видел, что у него цифра I. Другие, как и я, не обратили внимания. Мне досадно: подсмотреть было легко; стоило лишь нагнуться; по крайней мере, знал бы, что меня может ожидать. А может быть, неизвестность лучше? Очень удручен молодой Бендт; ему прямо сказали, что он слишком долго оставался в командировке и потому как дезертир будет отправлен в Москву. Один незнакомый финн, нашедший меня на своей кровати, которую, найдя пустой, я временно занял, чтобы писать, рассказывает мне, что когда он сказал на допросе, что приходил визировать свой

паспорт, ибо и по возрасту и по всем декретам имел полное право на отъезд, ему ответили: «да, а теперь мы вас пошлем туда окопы рыть». Говорит, что положение его и всех его соотечественников здесь прямо отчаянное: имея разрешения на выезд, они ликвидировали все свои дела, распродали всю обстановку до самых необходимых в хозяйстве вещей и должны были на другой день выезжать с семьями, которые неизвестно где теперь приютятся. Бывшие при них деньги все отняли: у него 4000 р., у его соседа — 9000 и неизвестно, вернут ли и когда. Вообще настроение сегодня у всех тоскливое, да и день сырой, дождливый; все бродят как сонные мухи. Я тоже не в своей тарелке: ночи почти без сна и лежание на полу дают себя-таки знать; глаза воспалены, клонит ко сну и совсем не пишется. Родственники заключенных продолжают стоять на улице; переговоры продолжаются и по временам вызываются приказания караульных закрыть окна. Это производит свое действие; когда окна под шумок понемногу опять раскрываются, становятся остроумные, особенно когда увидали, что некоторых дам, в пылу пантомимы вышедших даже на середину улицы, увели в «Дагмару». Посылки опять продолжаются прибывать бесконечно; сплоченная еда на всех кроватях. Мои добрые друзья, З., Соколов и Павилль, с которыми мы по-прежнему ютимся у окна, продолжали меня угощать, так что даже совестно становится. На мой отказ получаю даже строгое внушение от Соколова: «Вы видите, что у нас довольно всего, а вы ничего не получаете; это даже странно». Получаю, таким образом, черный хлеб с маслом и творогом, крутые яйца, холодный какао, а когда приносят кипяток, то пьем и чай. Замечательно, как еда улучшает настроение; даже финны повеселели. Молодые офицеры: Воронец, Готтенфельд и пр. стали играть в макао самодельными картами[13], тоже закусывают вовсю. Многие ухитрились дать о себе знать домой с тех пор, что очутились тут, но для этого надо выследить подходящего караульного, шушукаться, шептаться незаметно, а для меня это невозможно. Один случай меня тронул до слез, незнакомый юноша, почти мальчишка, в форме телеграфиста или реалиста, услыхав разговор об этом, принес мне кусок хлеба, хотя в это время у меня был полный рот, и так настойчиво просил взять, говоря, что получает кашу и картофель, что я должен был принять. В 2 часа нас повели прежним порядком обедать в «Дагмару»: дали полмиски супу и кусок хлеба; может быть мы этим обязаны доктору, который приходил вчера. Узнали там, что «Дагмара» всё еще битком набита арестованными; что арестована вся Датская миссия Красного Креста, со всеми сестрами, служащими, состоящими под домашним арестом, вернулись назад. С тех пор, что вчера мы несколько часов пробыли в этой зале всего в кол[ичест]ве 36 человек, мы поняли, как финны, несчастные, нас нервируют, т.е. присутствие людей в одном помещении. Они, на прощание, может быть, стали еще назойливее, всюду лезут, напираются на сидящих у окна, становятся между разговаривающими,

[13] Азартная карточная игра (колода — 104 карты), обязанная названием бывш. Португальской колонии Макао (Яомынь).

занимают чужие места и т.д. Они без нас так переставили кровати (а может быть, это сделали и красные), что затрудняли все проходы, стащили мой стул и так меня лишают писать, что хоть брось. Но надо, наконец, принять какие-нибудь меры, чтобы дать знать о себе. Шелькинга, очевидно, не выпустили. После совещания с добрейшим Арн. Осип. Зейдеманом, жена которого часами простаивала на тротуаре напротив нашего окна, ему удалось ей переслать записку, в которой он просит ее по телефону дать знать обо мне в Эрмитаже и домой. Рад буду, если Эрмитаж узнает, где я; о еде из дому не особенно забочусь, т[ак] к[ак] всё же думаю, что скоро освободят. Финны держатся наготове к ежеминутному отъезду в Москву, но я сомневаюсь, чтобы их отправили, тем более что сегодня в газетах сказано, что сегодня из Москвы отправляется эшелон финляндцев на родину через Петербург. Тут уже видно, что если нас сегодня не освободят, придется еще ночь провести на полу: становится прямо тошно. В 5 часов мне передают, что меня зовет на другой конец залы мой знакомый китаец, который просил меня ему показать Эрмитаж. Хотя и лень идти, но т[ак] к[ак] это Сын Небесной империи, то полагается быть вежливым. Оказывается, что он хотел меня угостить обедом, который ему принесла его жена, а именно холодным супом. Ай-ай, думаю, не из крыс ли? Но тут отказ немыслим, да и пить хочется. Налил мне полную большую кружку, а сам стал пить из кувшина. Великолепнейшая похлебка из какой-то рыбы (не воблы, которую я теперь всегда отличу), с перловой крупой, луком, сушеными грибами, картофелинами и на сливочном масле! Просто прелесть! Возвращаюсь к окну, там мне говорят, что этому самому китайцу сказали, что его сегодня выпустят. Бегу к нему узнавать, правда ли? Говорит, что да, что у него цифра I и у меня тоже. Думаю, что врет, откуда ему знать, что у меня, но сую ему на всякий случай записку в Эрмитаж, которую он обещает сейчас же по освобождении передать. Очень интересуется тем, что я пишу, когда узнает, что это мой дневник, говорит, что это опасно. Это, впрочем, мне говорили и другие, но если до сих пор нас не обыскивали, не будут же обыскивать при освобождении? В 8 часов раздобыли кипятку, пьем чай и закуриваем, но настроение минорное, мы уже изучили порядки и знаем, что даже если бы и сейчас начали с нами что-либо делать, то все равно раньше 12 или 1 ч[аса] ночи не кончили бы. Зейдеман снова видит из окна свою супругу, которая ему знаками передает, что звонила ко мне на квартиру, у телефона оказался швейцар, и передала обо мне. Ведь есть же добрые люди на свете! Это, несмотря на усталость, беспокойство о супруге, в такое время, когда у каждого своего дела хоть отбавляй! Встаю и раскланиваюсь. Как я рад узнать, что квартира видно цела. Жаль становится, когда подумаю, что так глупо оторван от своей работы в архиве, у себя дома, от Эрмитажа, может быть надоело. Около 10 ч[асов] устраиваемся на ночь; я нашел стул, перенес его в наш угол и начал дремать. Вдруг шум, общий переполох, крики: «Всем скорей вставать». Смотрю на часы: без 20 минут 11. Положительно большевики любят творить свое дело ночью.

Посреди залы появились комиссары и чиновники (один из них, рыжий, которого мы уже знаем). Сооружают при помощи караула посреди палаты, но ближе к эстраде нечто вроде платформы из ковшей и досок, на которую взбирается рыжий комиссар, усаживающийся на табуретке, со списком в руке; другой, тоже со списком, садится у открытых дверей в соседнюю пустую небольшую комнату направо; третий, тоже со списком и с караульными распоряжается в зале, повелительными тонами гонит всех в один конец трибуны для музыкантов. Крики: «Скорей, живей». Наконец нам объясняют: каждый по очереди должен подходить к рыжему комиссару, называть свою фамилию и имя и затем, по указанию, направляться или в комнату направо или вглубь залы, в левый угол, т.е. к нашему окну. Начинается. К рыжему подходят один за другим несколько финнов оказавшихся впереди и называются; он отыскивает их фамилии в своем списке, но это очевидно его затрудняет и берет много времени; темнеет, а электричества сегодня почему-то нет. Программа меняется; он начинает громко выкрикивать фамилию и имя (не по алфавиту), вызванный должен отвечать: «здесь», и протиснувшись сквозь толпу, направляться по указанию. К счастью я оказался стоя на кровати, довольно близко, чтобы отчетливо слышать каждую фамилию. Дело пошло гораздо скорее; с любопытством слежу, кого из знакомых куда направляют, чтобы вывести из этого возможные заключения. Большинство финнов оказываются в левом углу залы; туда же направляют громадное большинство молодых людей, офицеров. Вот идет туда Бендт, Гаттенфельд, Воронец, маршируя как на параде. В комнату направо направляют очень немногих; вижу идущих туда нескольких стариков, архитектора Соколова[14] (№ 1), Зейдемана, моего Китайца. Очевидно, туда собираются [те], которые в Москву не отправляются. Наконец слышу: «Направо». У двери комиссар опять спрашивает имя и фамилию. Вхожу; там меня встречают с радостными лицами; узнали, говорят, от комиссара, сидящего у дверей, что сюда направляют [тех], которые или будут освобождены или оставлены в Петербурге «до выяснения» (Чего?). Наконец, кончилось, — нас осталось человек 30. Все оставшиеся в зале будут сегодня же направлены в Москву. Сколько, я знаю, там, напр[имер], такой случай: молодой пианист, Мазуров, ученик консерватории, ассистент профессора Медема[15], дает уроки в советских школах и у себя на дому; бьется как рыба об лед с молодой женой, только что оправляющейся от воспаления легких; зашел в понедельник в «Дагмару», чтобы поговорить по телефону, и отправляется в Москву!

Нас из комнаты направо перевели в залу, опять на эстраду и в залу спускаться не разрешили; у ступеней эстрады поставили караульного. Но многие из остававшихся в залах подбегали к эстраде и, вызывая своих знакомых, в волнении и второпях, через головы караульных, передавали им адреса сво-

[14] Вероятно, Вениамин Дмитриевич Соколов (1888–1955).

[15] Профессор Санкт-Петербургской консерватории по классу фортепьяно Александр Давыдович Медем (1871–1927).

их родственников, свои последние поручения и указания. Караульные, в конце концов, смилостивились и не только этому не мешали, но разрешали и нам спускаться вниз поодиночке, чтобы переговорить с отправленными. Я сошел вниз, чтобы поговорить с Бендтом, который теперь, однако гораздо спокойнее, видя, что в Москву отправлялся не он один, а многие другие офицеры, которых под категорию дезертиров подвести нельзя. Очень его успокоило и то, когда я днем показал ему вчерашнюю «Правду» с приказом по военному ведомству, разъясняющим, что офицеры, находящиеся в командировке и имеющие при себе командировочные свидетельства от своих частей не могут быть судимы как дезертиры за отлучки, превышающие известный срок, иначе как с ведома и при участии своего непосредственного начальства. А это всё у него в порядке и он уверен, что его часть его отстоит. Очень может быть, что он и намеренно оттягивал свое возвращение в Минск в надежде на перемену обстоятельств, но кто же будет его за это винить? Сердце мое лежит за этим бедным мальчиком, которых столько перебывало у меня в лазарете за 3 последних года и психология коих у всяких в сущности та же. Эти красноармейцы поневоле — те же «белогвардейцы» и еще себя покажут... Воронец держит себя почти вызывающе, высоко задрав голову; поручений никому не дает, уверенный, что его скоро вернут сюда; он служит в скорой помощи; Гаттенфельд из категории отправляемых в Москву вдруг оказался с нами, — его оставляют «до выявления». Бледный пианист в отчаянии, у него нет ни копейки с собой, остающиеся друзья дают ему всё, что имеют. Павилль тоже в Москву; он в большом унынии и, конечно же, мог ожидать такой развязки. Он даже без пальто; потом простить себя не мог, что не догадался дать ему свое.

Время идет, уже 1-й час на дворе, электричества не дают; из окна эстрады смотрел на приготовления на пустынной улице. На другом тротуаре выстраивается огромный караул, приезжают какие-то подводы, санитарная карета и, наконец, оставшихся в зале выводят. Грустно до слез видеть уходящих, даже хмурых и так финнов. Моего друга, чиновника с почтамта, так и не мог разыскать в темноте и суматохе, и он не выходил из толпы; верно, горюет про себя, бедняга. Вот все и вышли; я у самого окна, вижу, как они выходят, неся свои вещи, и присоединяются на улице к толпе людей; выведенных из «Дагмары»; на улице получают по куску хлеба; у многих корзинки и свертки с провизией. Мелькают огоньки зажигаемых папирос, выстраиваются в шеренги человек по 8 в каждой, кто-то насчитывает таких рядов 33, но мне кажется гораздо больше. Кольцо конвойных сжимается и окружает уводимых, в хвосте идут служащие в Датск[ом] Кр[асном] Кресте и несколько сестер! Шествие трогается по направлению к Невскому. Уже половина второго ночи; нам объявляют, что нас сейчас поведут в «Дагмару»; зачем никто не знает; кто говорит, чтобы получить документы и пропуски (это ночью-то), кто — для допроса и «выяснения», чтобы быть отпущенным утром. Я этому не верю: еще

эту ночь и целый день, наверное, еще не узнаем своей участи. Предпочел бы чтобы на ночь оставили здесь — кроватей сколько угодно с досками, а в «Дагмаре» еще неизвестно что нас ожидает. Интересно будет ли для нас, 30-ти, выстроен опять караул вдоль тротуара? Он оказывается налицо — нас боятся, и мы еще пленники. Приходим; нам говорят «на самый верх». Знакомые места, где я провел первую ночь. Мы с Зейдеманом вошли в первую комнату, рядом с той, где я «ночевал» с Шиповым; в ней оказалось уже 3 человека и между ними Шелькинг. Еще два незнакомых; всего нас 5 человек: диван и 2 кровати, широкие, с матрасами! Роскошь! Но у нас так взвинчены нервы, что о сне мы еще не думаем. Зейдеман достает из своего мешка бутылку с холодным какао, хлеб с маслом, и мы разговариваем. Шелькинг рассказывал, что когда его вызвали сюда, то допрашивали, вернули деньги, но не документы и оставили здесь «до выяснения». Чего, он так и не знает. Оказывается, что и Шипов находится здесь эти 3 дня и провел их в этой же комнате, но что сегодня днем ему сказали, что он будет освобожден и оставили где-то внизу. Здесь ближе к центру распоряжений и информация гораздо лучше. Оказывается, что мы попали в когти Московской военной чрезвычайной комиссии, нагрянувшей из Москвы со всем своим штатом и действующей совершенно независимо от Гороховой. Она заседает внизу, на первом этаже, где и производятся допросы. Подтверждается, что на протоколах 2-го допроса (в среду) ставились цифры: I–V; что I значит освобождение без допроса; II — «до выяснения» — новый допрос, а III, IV и V категории — подозреваемые в «белогвардействе», дезертирстве и уклонении от призыва, спекуляции, контрреволюции и, наконец, все иностранные подданные. Забыл сказать, что перед тем, чтобы вывести отправляемых в Москву на улицу, объявили находящимся среди них финнам и иностранным подданным, что их ни в чем не обвиняют, что меры, принимаемые по отношению к ним, чисто политического характера. С этих пор я начинаю немного бояться за Зейдемана, который польского подданства. Говорят, что из русских отправлены в Москву и те, против которых при обыске Д[атского] Кр[асного] Креста нашли улики, что они хлопотали о разрешении на выезд в Финляндию, Швецию, Данию. Еще говорят, что завтра возвращение документов, последний допрос и что вечером Московская Чрезвычайка выезжает обратно, блестяще выполнив свою миссию, и передает всех неосвобожденных ею на произвол Гороховой. Если для нее не будет экстренных поездок, то, по моему мнению, можно надеяться, что к вечеру наша участь решится, т[ак] к[ак] если не ошибаюсь, поезд уходит около часу ночи. Но уже более 3-х часов; я без церемонии заявляю, что проведя две ночи на полу, лягу на кровать. Ш. ложится на свой тюфяк на полу, Зейдеман устраивается на узеньком диванчике. Двое незнакомцев уже давно спят на одной из кроватей, я выбираюсь на другую и засыпаю тотчас же мертвецким сном и только чувствую, что рядом со мной ложится что-то еще.

24 мая. Пятница

Встаем все почти одновременно около 8 часов; настроение после хорошо проведенной ночи бодрое, да и чувствуется, что так или иначе участь наша должна решиться. Первый вопрос: нельзя ли хоть немного помыться? Уборная и WC на нашем этаже, где за эти дни перебывало более 1000 человек, загажены так, что нельзя войти; даже на полу сплошная скользкая грязь. Но в следующем внизу, 6 этаже есть желтая фарфоровая раковина, вода и WC действует. Это в помещении женской приемной гостиницы, куда арестованных не пускали. З. дает мне кусочек мыла, чистое полотенце и, наконец, я могу вымыться. Вообще моя жизнь за эти 4 дня ничем не отличалась от длинного путешествия в самых неудобных условиях, как напр[имер], когда я поехал во Львов в 1914 г., где от Киева до Львова 4 дня я ехал и в товарных вагонах, и в вагонах 4[-го] класса битком набитых, без еды и мытья. Потом заварил чай; кипяток принесла какая-то женщина, в ведре и поставила на пол в коридор. У З. конечно оказался чай и яйца и черный хлеб с творогом. Потом выхожу на разведку; встречаю Горяинова[16] из М[инистерства] Ин[остранных] Д[ел]; он здесь со вторника, но уже знает, что его сегодня выпустят. Узнаю, что арестован весь Д[атский] Кр[асный] Крест и отправлен в Москву, двух датчан, оставшихся здесь; арестованы все остававшиеся еще здесь консула, канцелярские и другие служащие при давно уже покинутых иностранными представителями помещениях иностранных Миссий и Консульств: бельгийской, шведской, греческой, швейцарской и пр., где везде были произведены обыски, выемки документов и, конечно, кражи. Помещения заняты, а сами они отправлены в Москву. Можно только предположить, что союзники и нейтральные объявили войну, иначе эти меры и эта дерзость необъяснимы. А если они войну же объявили, то интересно знать, как они проглотят эту новую пилюлю? Шипова нигде нет, говорят, что его уже выпустили. Встречаю моего китайца, он весел, говорит, что нас обоих сегодня выпустят, что у нас № I, что он знает. Хочет вернуть мне мою записку в Эрмитаж, но я настаиваю, чтобы он ее послал и разорвал, только если мы с ним одновременно выйдем на свободу. И как он может знать? Подсмотреть мой № он не мог, его допрашивали раньше меня. Сажусь писать дневник, и время проходит незаметно. В 1 ч[ас] дня зовут вниз обедать. В столовой, в одном углу за отдельным столом сидит человек 12, которых мы еще не видели; между ними, к моему остолбенению узнаю П. Волконского и Кнорринга. Подхожу к ним. Волконский спрашивает: «Ou allez vous?». Меня этим вопрос удивляет; отвечаю, что ничего не знаю, но что говорят, что сегодня освободят. Он качает головой: «je ne crois pas, — moi, je vais á la Шпалерная. Knorring croit qu'il ira á la Нижегородская». Спрашиваю: «как, на каком основании?» — «Mois des especes d'otages». Возможно ли это? Стало очень неприятно. Возможно-то всё,

[16] Имеется в виду С. М. Горяинов, автор «Руководства для консулов». (СПб., 1903), «Босфор и Дарданеллы» (СПб., 1907) и ряда др. сочинений.

возможно. Сажусь к Зейдеману и рассказываю ему эту новость. Тоже, кажется, не понравилось. Обед: суп советский из воблы, без хлеба. Потом опять присаживаюсь к Волконскому. Кнорринг говорит, что после того, это его вывел Ионин из толпы, его допросили и оставили в «Дагмаре», на нижнем этаже, в отдельной комнате; во вторник к нему присоединили Волконского, попавшего более или менее случайно, т[ак] к[ак] в этот день мышеловка еще действовала. Они говорят, что до вчерашнего вечера находились в великолепных условиях; их комната № 12 с балконом на улицу, на одном этаже с Чрезвычайной Комиссией; они были вдвоем, пользовались почти полной свободой, могли гулять чуть ли не по всей гостинице; обедали и ужинали отлично, вместе с персоналом Датск[ого] Кр[асного] Креста; но со вчерашнего вечера, после отправления датчан в Москву (В. Ганзен не был арестован и поехал в Москву добровольно) их положение изменилось, с ними начали обращаться как с арестованными, на ночь узнали о своем новом назначении. Арестована и отправлена в Москву в числе сестер Кр[асного] Креста и дочь Антона Урусова. Черт возьми, надо все-таки принять новые меры. Возвращаюсь наверх с нашей партией, беру у Китайца мою записку, прибавляю в ней о возможности дальнейшего моего направления в другое место заключения и еще раз прошу его немедленно ее доставить в Эрмитаж, как только он выйдет. Затем считаю мои шансы быть освобожденным или оставленным заложником. Тот факт, что В. и Кн. содержались отдельно внизу, с самого начала следствия и вообще на отдельном положении, казалось бы указывал на то, что они почему-то выделены были из общей массы; я же смешан с толпой и не был вызван, как хотя бы Шелькинг и Шипов. Впрочем, отдельное положение В. и Кн. может быть объяснено и просьбою Ганзена, с которым оба хорошо знакомы; так он (?), так и их положение изменилось и после ареста Д[атского] Кр[асного] Креста едва ли заботы датчан о них могли послужить им на пользу. Им нет еще 40 лет, В. уже сидит 2 недели на Шпалерной при Урицком, Кнор.: в (?) и только недавно выпущен, к тому же бывший офицер. Ну, да подождем увидим. Уже 2 часа и мы узнаем, что начался допрос всех находящихся наверху и что не вызывают поименно, а кто хочет занимает очередь на лестнице наверху и от времени до времени спускается вниз человек по 10. Становимся в очередь; я говорю Готтенфельду, чтобы он встал за мной и что если меня освободят, то я подожду выяснения его участи, чтобы завтра же утром известить его родителей. За ним становится Шелькинг, затем Зейдеман. Передо мной человек 15; мы все оказываемся во втором десятке. Садимся на ступеньки; что-то долго никто не выбегает снизу. Наконец торопливо подымается архитектор Соколов, с радостным видом и пропуском в руке. Его совсем не допрашивали, только вернули документы и дали пропуск. Забирает свои вещи, прощается и исчезает[17]. Затем скоро появляются и другие из наших, си-

[17] Примечание Казнакова: «Несчастный Соколов, как я потом узнал, служит в каком-то союзе металлистов. Из “Праги” он дал знать своему начальнику, прося его похлопотать о нем; тот, негодяй, вместо этого произвел обыск на его квартире, которую, вернувшись,

девших наверху, все почти оказались 1-й категории, никого не задерживают, не допрашивают и всем выданы пропуска. Мое предположение что наверху, гуртом были собраны вчера вечером менее серьезные «преступники», повидимому, оправдывается. Уходит и мой китаец; обещает завтра утром передать записку. Передо мной остается человек 7–8, но опять запинка — снизу никто не возвращается, внизу никого не выпускают. Оказывается, чрезвычайная комиссия сделала перерыв, вероятно, для обеда. Ухожу наверх доканчивать дневник, это лучшее средство отделаться на время от чувства томления. Потом выхожу опять на лестницу; уже 6 часов, движения воды всё еще нет. Вдруг велят спускаться вниз, но, увы, это вызов на ужин. Зачем-то нас вдруг начали баловать. Там дают опять полмиски супа; за тем же столом опять сидят Волконский и Кнорринг. Сажусь к ним и разговариваю, нового они ничего не знают. После ужина снова садимся на лестницу в очередь. Передо мной те же 8 человек. Но узнаем неприятную новость: проходил караульный начальник и сказал на ходу, что остался между невызванными еще только один № I. А нас 25 человек! Из этого ясно, во-первых, что кроме одного всех будут допрашивать и потому процедура затянется, а во-вторых кто этот № I? Если верить китайцу, то это я; но я вспоминаю, как в Лицее, проходя логику, мы учили: «один китаец говорит, что все китайцы врут; значит и он врет, значит, все китайцы говорят правду» и т.д. Поди, разберись. Верно лишь одно: что у меня 1 шанс не быть допрошенным против 24 быть допрошенным. Проходит снизу еще один из оставшихся здесь датчан: его освободили; он говорит, что остальным служащим Датского Креста, уже оставленным служащим Датского Красного Креста, уже отправленным в Москву, будет разрешено возвратится сюда и выезжать за границу, и все мы, сидящие в «Дагмаре», будем или отпущены сегодня вечером или переведены в другие места. В голову приходит мысль, что если меня переведут в «другое место», то я могу еще вляпаться со своим дневником. Очевидно всё дело в том, что если будут еще меня допрашивать, значит, не удовлетворились первым допросом, и если начнут допрашивать не о настоящем, а о прошедшем, то это может повести далеко. Прошу З. меня предупредить, если начнется движение, и иду в комнату дописывать дневник — уничтожить его мне как-то жалко. Но пора кончать, уже 8 часов; беру пальто и выхожу на лестницу.

24 мая. Пятница. Дома

Передаю Зейдеману ключи и дневник, прося последний, смотря по обстоятельствам, или переслать домой своей жене, или уничтожить, или вместе с ключами передать Эрмитажу, занимаю свое место и вижу, что передо мной остаются только два пожилых финна и старичок в фуражке какого-то ведомства. 9 часов, и нам говорят спускаться, чувствую, что караульный, сидящий

он нашел разгромленную. Явившись на другой день на службу, он был задержан и отправлен на Гороховую!»

на площадке, слегка хлопает ниже спины и говорит: «И это ты». Спускаемся до 1-го этажа и там, налево, в коридоре у двери номера 1-го опять затор: у дверей сидят еще два финна, ожидающие своей очереди; за мной Готтенфельд, Шелькинг, Зейдеман, согласно условию. Стоим; дверь № 1 иногда открывается, чтобы выпустить выходящих, и тогда я вижу у стола напротив двери рыжего следователя, орудовавшего у нас в «Праге» вчера вечером. Выходит из двери и в белой блузе, допрашивавшая меня так основательно в среду; сегодня у нее волосы заплетены в длинную толстую косу почти до полу. Видно, что Московская Чрезвычайка длительно готовится к отъезду: из разных комнат коридора выносятся узлы и чемоданы. В это время ко мне подходит караульный с корзиной и говорит: «Ваша кухарка принесла вам посылку и просит столовую карточку». Я чуть не фыркнул; наконец раскачалась моя Аннета и как всегда вовремя! Но надо расписаться и караульный должен осмотреть содержимое. Иду с ним в соседнюю комнату, он осматривает очень поверхностно. Меня, несмотря на все, разбирает смех: 4 картофельных котлеты, 2 куска черного хлеба, полученного по карточке, тарелочка с нарезанной селедкой (тоже по карточке) и коробка папирос, которую мне, оказалось потом, прислал швейцар и затем взял обратно. Что делать? Отослать назад? А вокруг не выпустят? Решаюсь послать ей сказать, чтобы она подождала пока я к ней не выйду, и что столовой карточки у меня при себе нет. Вижу, что пропустил свою очередь и что вместо меня вошел кто-то другой. Караульный возвращается, ухмыляясь во все лицо: «Кухарка спрашивает, где ваша столовая карточка, чтобы завтра вам принести обед из столовой!» Тут уже не я один, а все начинают смеяться. Так вот чем она собралась меня кормить: из-за одного этого дай Бог, чтобы выпустили сегодня. Но открывается дверь, и я вхожу. Рыжий следователь стоит у стола и что-то ищет. Бросает на меня беглый взгляд и спрашивает фамилию. Говорю. Имя? Говорю; рядом стоящий чиновник что-то сверяет. Рыжий спрашивает: «У вас брали документы?» — «Да». «А деньги?» — «Нет». Он отправился к другому столу, у которого худая как щепка девица, еврейка, которую я уже знаю в лицо (она, между прочим, в среду, когда потухло электричество в «Дагмаре», бегала с лампами) уже роется в каких-то огромных толстых конвертах. Рыжий следователь тоже начинает в них рыться; вижу, что он отчаянно торопится, а документы не находятся. Боюсь, что еще из-за них задержат и решаюсь сказать, что он мне не особенно нужен; что удостоверение о моей службы мне дадут новое в Эрмитаже, а остальные для меня не важны. Рыжий видно обрадовался, обращается к барышне в белой блузе (она, очевидно, понижена в чине, может быть после того, что проявила свои блестящие инквизиторские способности при моем допросе, и скромно сидит поодаль) и спрашивает: «Это первый?» Чиновник, стоящий рядом с ним, говорит: «Да». Рыжий подает мне бумагу со словами: «Вот ваш пропуск». Я беру и говорю: «Нет, я попрошу еще удостоверение о том, что был арестован и задержан пять дней, для представления по месту службы». — «А, хорошо». Заполняет какой-то бланк, причем перевирает мою

фамилию и имя (его поправляет другой чиновник) и вручает мне. Я все-таки спрашиваю: «А документы я не получу?» Он коротко отвечает: «Нет». Выхожу с двумя бумажками в коридор. Там меня поздравляют; караульный, опять оскалил зубы, подносит корзину; я с ней спускаюсь вниз, нахожу в передней Аннету, отдаю ей корзину и заклинаю идти сейчас домой, поставить самовар и во чтобы то ни стало приготовить мне горячую ванну, а что я сейчас приду. Она удирает, а я бреду опять наверх, на первый этаж. Прощаюсь с добрейшим Арнольдом Осиповичем Зейдеманом, который поручает мне передать его супруге, ожидающей на улице, чтобы она не беспокоилась, что через полчаса или час, он или выйдет или даст ей знать. Иду искать Готтенфельда; мне уже сказали, что его отправляют в Москву; благодаря этому он в другом коридоре, направо от площадки и туда меня на минуту пускают. Прошу караульного меня на минутку пустить; он добродушно говорит: «Ну, проходите». Нахожу Г. и обещаю ему завтра же утром пойти на М. Посадскую, известить его родителей (что, конечно и сделал). Выхожу к подъезду; караульный у дверей берет пропуск, что-то долго его рассматривает и, наконец, насаживает на штык, на котором уже целый ворох бумажек.

Дверь открывается и я на свободе. «Finita la comedia».

На улице нахожу M-me З., благодарю ее за хлопоты обо мне и успокаиваю ее насчет мужа. Через что она прошла, бедная, когда сегодня утром принесла еду мужу и сначала не хотели принимать, говоря, что он ночью был отправлен в Москву, пока, наконец не выяснилось, что он здесь. Мы перешли с ней на противоположный тротуар; я полюбовался на наше окно в «Праге». Хотел подождать с ними (она была не одна), сидя на подоконнике Pavillon de Paris, чтоб на подъезде показался ее муж, но вспомнил, что перед ним будет допрашиваться Шелькинг и что это может затянуться, а у меня и документа о личности нет в кармане; между тем уже без 20 мин[ут] 10 часов. Еще патруль задержит по дороге домой. Прощаюсь с M-me З., беру с нее обещание сегодня же вечером мне позвонить и направляюсь домой на Миллионную. Иду скоро и легко, но не могу сказать, как пишут в романах: «наконец почувствовал себя на свободе!» Может быть я слишком мало сидел и не достаточно проникся ее лишением, но чувства неволи у меня совсем не было все эти дни, кроме нервного вечера, а скорее было опасение, что я окажусь лишенным свободы. Думаю, что этому много способствовало и нахождение в большой, светлой зале, с открытыми окнами на улицу, общение со многими симпатичными людьми, разнообразие впечатлений и пр. Проведи я эти 5 дней в темном, верхнем этаже «Дагмары», в маленькой комнатушке, где из окна видны были только крыши и трубы, да кусочек неба, чувство было бы совсем другое. Должен констатировать еще один факт: ни одной минуты во время заключения, ни теперь, после освобождения у меня не было чувства озлобления против людей, меня задержавших и продержавших 5 дней, безо всякой причины; нет ни малейшего чувства злобы, несмотря на все неприятности, издевательства, грубости, действительно мучительных. Было чувство

досады на самого себя, но оно умерялось каким-то чувством «что так должно быть». А какое чувство злобы, мстительности, ненависти к правительству питали при старом режиме арестуемые революционеры. Как это объяснить? Объяснить, я думаю, можно, но это уже выходит за пределы дневника.

Остается лишь привести официальную версию моего ареста (удостоверение, выданное мною Московской Военной Чрезвычайной комиссией) за двумя печатями.

Справка.

Гражданин Казнаков, Сергей был задержан Чрезвычайной Комиссией с 2/VI по 6/VI 1919 г. по Садовой, дом 9, (Датск[ий] Кр[асный] Кр[ест]) и по выяснении личности освобожден.

Председатель В. Ч. К. (подп.) Полево.
6 Июня 1919 г.

NB: Удостоверение моей личности В. Ч. К. имела в руках 2/VI в 6 ½ ч. дня. Стоило на другой день позвонить в Эрмитаж и моя личность была бы выяснена в пределах возможного. Но этого не было сделано ни на другой день, ни в последующий. Значит, выяснилась не личность, а что-то другое: моя благонадежность!

NB NB: В конце концов, оказывается, что моя судьба зависела от дивы в белой блузы и pince-нез, давшей мне «первую категорию» и в отношении свободы! Теперь я, кажется, вполне «легален». Аминь.

NB NB NB: А. О. Зейдемана выпустили через час после меня. Они мне позвонили в 11 часов вечера. Потом он мне признал, что таки побаивался за меня.

NB NB NB NB: Записка, переданная мною китайцу, была получена в Эрмитаже через 2 дня после моего освобождения. Он послал ее по почте! «Один китаец говорит, что все китайцы врут... и т.д.» А обещал мне передать ее немедленно. Но опять же всё время утверждал, что у меня № I!

РГИА. Ф. 948. Оп. 1. Д. 181. Л. 1–27 об.